

МОСТ

I

Заслышав под вечер, что Дуня-Забота помирает, стали подходить к широкому подворью Скорохотовых люди. Первыми пришли ближняя родня, бабы-соседки, старухи; за ними стали появляться и мужики, входили в дом, с фуражками в руках столбами стояли позади примолкнувших своих жен – повидать напоследок, попрощаться, не на год и не на два расставались.

Маялась Дуня долго, измучилась вся, но до последнего часу владела языком, была в сознании почти ясном и под конец уже не пугалась, как раньше, не металась при мысли о близком и не глядела, не просила так взглядом, пугая этим всех, помочь ей в том, что уже ничему человеческому не было под силу. Она будто дошла до чего-то, облегчившего ей сейчас все, просветлела глазами и речью и теперь только просила Бога прибрать ее, освободить поскорее – и ее, и всех собравшихся около нее людей тоже, которым наделала она столько хлопот, горя и затянувшегося ожидания. Водянка и вовсе разрыхлила, ненатурально округлила все ее тело, одного лишь белого, в чистом прозрачном поту лица не затронула; и казалось, что лицо это, запавшая в низком изголовье простоволосая голова с ее живыми, ходящими по углам родной избы глазами живет уже отдельно от ненужного большого тела, накрытого серым одеялом.

Слегла тетка Дуня сразу, как это часто бывает с рабочими людьми: до времени все крепилась, ходила по дому и во дворе, незадолго перед этим, весною, даже всю картошку одна подняла из погреба и перебрала, приготовила к посадке. А в один из дней будто надорвалась, и на пустяке надорвалась, на малой домашней стирке. За большую она уже не бралась, с ней сноха кое-как управлялась, сын в соседях жил. Взясась только спецовку старую, мужнину, постирать, очень уж неохота было видеть, что в последнее время он, как старый бобыль, ходит – что надел, то и ладно... И постирала. Потом мелочь разную повытащила из углов, потом рубаху-перемываху, носки, тряпье всякое... Разошлась так, что и сама себя остановить не смогла, уж очень наболело на душе сидеть сложа руки – хотя весь дом по-прежнему был на ней одной, да и во дворе тоже иногда сама управлялась, не ждала мужика. Постирала, пополоסקала в речке; и, видно, прохватило ласковым, обманчивым для ее лет ветерком у воды, утром не встала. А может, с трицы подеялось, когда ходила она с бабоньками новый мост этот, на Ленивке, святить – сколько ж там людям биться можно, на этом мосту... Помолились Богу за добрых людей, покропили; и дождь тогда хоть и легкий был, моросной, а много ль ей надо, с молодых лет изработавшейся, застуженной, со старым своим ревматизмом и слабым, чувствовала она, сердцем, на гору не взойти... Впрок не пошло и то, что была она с виду полной, осанистой, кровь в румянец пробивалась порой, неленивая кровь. Но такой она стала в недавние годы, когда малость отлегла нужда: «Я только поглядеть – справна, а здоровьем совсем никуды стала, гнилая... Всю жизнь доска доской ходила, где у людей мясо – у меня желваки какие-то были, ни в никакой бане их не распаришь. Вот и беда-то моя: люди думают – справная, ишачить ей да ишачить; а я

никуда, и прямо совестно от людей...» Стыд этот, наверное, и подвинул непосильное делать, и сгубил, как губит многих, привыкших работать и на себя, и на людские глаза тоже.

Она уже очень устала, только просила Бога прибрать ее поскорее; и от этих слов ее, от просьб всем немного не по себе и очень жалко ее было, жалко и страшно за нее и почему-то за себя тоже, за все страждущее, живое, такое хорошее и на земле такое недолговечное... Молчали и смотрели; и, наверное, так изменилась в лице молоденькая Дунина невестка, стоявшая в изножье постели, такой ужас и непонимание были в глазах ее, что Дуня-Забота смогла увидеть и понять это, и кивнула ей, тяжело и медленно сказала:

– А ты не бойся, Анюта... ты не надо. Живите тут... даст Бог, увидимся. Как мы рады будем, как встретимся, как перед очами его... милосердными. Он простит нас всех, я знаю. Он любит нас, видит, как мы живем... разве мы виноваты. А если грех какой... так смертушка все испит, тяжелая она – такая тяжелая!..

Она передохнула, жалеющими глазами медленно оглядела их, попыталась повернуть голову, других увидеть; все были свои, родные, соседи, со всеми так ли, сяк, а жила, и жалко было оставлять все.

– А грешите помене все ж... помирать легче будет. Детки вон почему легче помирают – грехов мене потому что. Так и вы. Он вас наманул, что ад... нет там никакого аду; а это чтоб греха боялись. А он простит. Вы только бойтесь греха-то... Я за вас рада буду, помолюсь, как помирать станете... я вас ждать буду.

И бабы замирали, слушая такие речи ее, и, наверное, каждая из них в эту минуту верила, с затаенным страхом и радостью встречала слова ее, что ада нет, что есть какая-то великая, больше всей человеческой, и непонятая ими еще любовь, которая в назначенный час встретит их и обласкает их, приветит и утешит, примет в свое высокое светлое лоно – стоит только пройти весь отпущенный им жизненный путь и подойти к смерти, очиститься в ее мучениях от всех грехов; а затем вступить чистой и умиротворенной в мир, где всем безраздельно и ясно правит любовь, где каждая, не оглядываясь на соседа, могла бы жить по своей доброй совести безоглядно, в полной уверенности, что и везде по совести и что на любовь ей всегда ответят любовью; и что будь даже это все немного не так, все равно всегда можно прийти к нему, и он без слов все увидит, поймет, посмотрит ясным добрым взглядом, благословит, и больше ничего ей, любой из этих баб, и не надо... И строго, и высоко, необычно подымались их души, надежда входила в них и вера, что будет и для них эта радость – отдать с души последний грех и сомненье и стать чистыми, готовыми к той обещанной любви, встретить там любимых и родных, и всех, кого они встречали тут, и спокойная и радостная человеческая любовь никогда не прекратится для них...

Стояли вокруг постели и в дверях, ловили слова ее, и глаза, в упор, но будто уже не узнающие людей, поспешно кивали, чтобы привлечь к себе разбредающееся, все более угасавшее внимание Дуни. И она-таки видела, узнавала и тоже пыталась кивнуть, говорила: «Прощай, Петр Андреич... и ты, Николай Иваныч, прости, помнишь, как на покосах гроза-то нас застала, буря-то, молоньей омет сожгла... помни! Это когда Микишка-то быков чуть не утопил в тине, в сорок семом... – И вдруг забеспокоилась, взгляд ее с трудом стал искать что-то в людях, сидевших и стоявших рядом, шевелила пепельными губами. – А, Микишка... где Микишка-то, чтой-то не узнаю никак? Ить он должен быть, как-никак однолетки мы, все степя прошли... Нету Микишки, никак не найду». Все молчали, а мужики переглянулись – не найдешь теперь Микишки, два года с лишним как умер мужик в больнице, изрезанный весь. Заговариваться стала. И спешили выйти во двор, доставая на ходу курево и помалкивая каждый про свое.

Но дождаться пришлось немногим: пастухи пригнали с полей скотину, и волей-неволей надо было идти встречать, обиходовать ее, дело есть дело. Остались сестра, сыновья и еще кое-какая родня, случившаяся здесь. Сам хозяин, дядя Степан вышел только корову загнать. За-

мешкался что-то во дворе, всего на минуту, и услышал: в доме громко заплакали, запричитали, как-то пугающе вдруг, сразу, хотя второй уже день ожидали этого с часу на час. Сын выбежал, увидел его, сказал только: «Папань!..», поспешно и сдавленно, и опять кинулся в дом. Дядя Степан торопливо и неловко побежал за ним.

Умерла Дуня-Забота, еще не старая, но вся больная, заезженная в свои пятьдесят четыре года чередой лихолетий, оставила мужа и двух взрослых, женатых уже сыновей. Некому было посылать телеграммы или звонить, все жили в селе, под боком; и хоронить решено было назавтра, к обеду, так и врачи посоветовали. Товарки обмыли Дуню, прибрали, поплакали, поминая ее и свои жизни и особенно последние, странные многим и все равно обнадеживающие речи ее, – чиста пошла к господу, раз так с душой говорила... Пришли читать над нею, совершенной горой лежащей в переднем углу, старухи, свечей где-то достали и сторожами души поставили вокруг; в соседнем сыновнем дворе негромко, на все окрестности слышно стучал молоток, коротко взвизгивал рубанок. Только под утро готов был гроб: свой пиломатериал, у каждого хорошего хозяина в заначке, трогать не стали, подняли кладовщика, на такое дело колхоз всегда отпускал, – вот и провозились, сколачивали уже на утро глядя. Мужикам, родственникам и соседям покойной положено было начать и вырыть до обеда могилу.

II

По летнему времени вставали рано; солнце еще и на вершок не поднялось над туманно-сухим, не освеженным ночью горизонтом, когда семеро мужиков, прихватив ломы и совковые и штыковые лопаты, сошлись у двора Скорохотовых. Как-то само собою определилось, что поведет всех Петр Андреевич, дядя Петя, дальний родственник покойницы – пожилой уже, негромкий и невластный рассудительный мужик. Еще с мальчишек вертелся на полевом стане, около трактористов: подносил воду, катал бочки с горючим, мазутные железки мыл-перемывал. Всю жизнь проработал на тракторах, и было в нем потому что-то не мужицкое уже, а скорее пролетарское, ровное и спорое, технически грамотное.

На минуту зашел он в бессонный в эту ночь дом Скорохотовых, глянул еще раз на покойницу: руки ее уже не сходились на вспухшей, придавленной специальным больничным грузом высокой груди и были подвязаны, свеча пристроена в оставшейся от сыновей чернильнице. Рядом сидела мутноглазая от бессонницы большая сестра умершей, Прасковья, глухая, согбенная, заброшенная всеми. Дядя Петя тихо переговорил с хозяином о месте могилы, о кресте, который должны были скоро сварить из железа в колхозной мастерской; не забыл напомнить и про завтрак – принесут его прямо на могилки – и вышел, сказал коротко, словно вздохнул: «Ну, пошли...»

Могилки были за полверсты от села, у больших зерновых складов, следом шли уже поля. Окруженные всего лишь невысоким земляным валом, сейчас под степь задернелым, они были не Бог знает как устроены, обычные русские могилки. Забрела сюда порой беспризорная скотина, мирно паслась среди крестов и новомодных «тумбочек», со звездами и крестиками тоже; от этого и еще от постоянных суховеев деревья росли плохо, не помогал и прах покойных. Несколько лет назад колхоз по настоянию сельсовета все же обнес могилки ржавой проволочной сеткой на столбах и расширил за вал территорию, старой давно не хватало. Трава и деревья несколько поправились, потучнели, вольнее и раскидистее стали; и надо было наконец ожидать, что скоро примут могилы свой необходимый вид глухого покоя, молчания и пристанища одних только птиц, если бы на днях сюда не заехал на бульдозере молодой, из недавних эспэтушников, и не натворил делов. Говорят, спяну уснул за рычагами и так шпарил здешней ровной степью, пока на наткнулся. Не догадался вовремя заднюю скорость включить и, пока выехал, много дел наделал.

Этим проломом, увиденным еще издали, и вошли мужики на кладбище.

Место могилы было присмотрено заранее, еще в прошлом году на «родительской» самой же покойницей. Давно она к нему примеривалась, к этому месту, присматривалась, не раз думала о времени, которое неминуемо придет, разлучит с одними, опять же на время, и сведет с другими, уж навсегда; теперь все это у нее позади и так далеко... Выбрала его Дуня рядом с бабкой своей, около матери все было занято: с одной стороны – отцом, с другой – сестрами, помершими уже после войны. Оставалось еще место в изножье, но оно давно уже было оговорено за Прасковьей, и Дуня как ни просила, как ни уговаривала старшую – все без толку, один грех со старой. «Буду с бабкой, – говорила тетка Дуня, усмехаясь невесело, крестилась. – Мы с ней век на печи вместе спали – полежим и тут, кака разница. Не с чужой ведь, со своей – чай, не потесню...» Она особенно, несколько раз, наказывала не хоронить себя на новых могилках: пусть молодые там занимают, это для них, мол, пригорожено. К родным костям ближе хотелось; и было в этом, верно, утешение и сила родного, желание человеческой любви, пусть даже и не сбывшейся до конца, вера в эту почти невозможную на земле любовь и, в конце концов, мнимая, как все человеческие чаяния, и радостная в неведение замена того, что увиделось Дуне-Заботе под конец.

Обчинали могилу дядя Петя и Мишка Репейник. Обозначили прямоугольник, метр с небольшим на два, срезали аккуратно и отложили в сторону дернину, которая пойдет потом наверх – потолще, вянуть не будет; и стали следом копать и выкладывать пласты обнажившегося сухого чернозема, белесого от безводья. Остальные закурили, сидели молча, следили, хотелось побыстрее приняться за работу, вонзить отточенную штыковую лопату в землю, с хрустом выдирая живые и омертвевшие травяные корни, нарушая нетронутую здесь, казалось, глубину земли.

Могилы издавна принято копать глубоко, метра на два с лишним, материковый грунт по всей округе тяжел – чистая почти глина с малой долей песочка; и работы хватало до обеда в упор. Копали на переменах, по два человека, молча и споро: и не то чтобы так опечалены были смертью Дуни, это само собой, а больше от какой-то другой печали, внутренней связанности, которую всегда чувствует человек в таких местах... Чернозем был столбчатым, глубоким, не менее трех штыков, и брался легко. Его скоро прошли, работа втягивала в себя и отвлекала, возвращала рукам дневную бодрость и сноровку, и первая усталость, легкая и чем-то даже приятная, позволяла каждому, равному среди других, сесть на ковылек, закурить и сидеть так, покуривая, поглядывая на работающих своих товарищей, на склады и село за ними, на скоро ставшие уже привычными кресты, все разные, всяк на свой манер, как сами люди. Небо, такое ясное вначале, затянулось неведомо откуда набежавшими облаками: начинался теплый хмурый день середины лета, ветерок объявился, тревожил редкие деревца и бугристую траву могил, гнал видные отсюда колосившиеся хлеба, полынью качал.

Пошла глина; и нечистая, с черноземными потеками, и комовая, непохожая на целик – стало быть, уже копали здесь когда-то...

– Не дай Бог наткнуться, – сумрачно сказал дядя Петя, ковырнул красноватую, с темно-серыми разводами стену. Он был недоволен таким оборотом дела, да и все этим обеспокоились. – Вроде б и не должны, соседняя вон аж где... Может, подкопом они сюда копали?

– Шут их знает. – Мишка нагнулся над соседним крестом, старым, еще из железных полос клепанным, стараясь прочитать насечку: – «Сда»... «Самохин...» Самохины тут. Это кого же они последним хоронили?

– Да Шурку своего, который с заводов вернулся... Хромой, у кузнеца еще подручничал.

– Ну точно, его! Кажись, с подкопом, я ить хоронил. – Это сказал Мурашин, тоже из родни Скорохотовых – коренастый, пузатый, в кепке блином на самых глазах. Он всегда ее так носил, потому и голову держал прямо, с независимостью и значением; а сейчас, стоя внизу, и во все задрал ее, откинулся – нет бы фуражку поправить. Мужичок слыл дельным, прижимистым и уважался. – Это в пятьдесят девятом, кажись?.. Хоронил. И подкоп делали.

– Ладно, рискнем, один гроб всегда оставить можно. А нет – сами подкопаем. В тесноте, да не в обиде. Населились, однако, тут...

– Мальчонка идет, – сказал кто-то, – с завтраком. Вылезайте, мужички, помянем Дуню.

С мальчишкою, внучком, прислали жареной кусками рыбы, огурцов и лучку, каких-то пирожков, яиц вкрутую. Дядя Петя все это выложил на газету, а напоследок достал со дна сумки две бутылки чистой.

– Ну, за покойницу, – произнес, не глядя ни на кого, и первым выпил теплую и оттого еще более горькую водку. Занюхал, перед собой глядя, хлебом, сорвал полынок и зажевал им, за куравом полез.

– Ишь ты, полынком, значит, ее? – Мурашин поднял голову, одобрительно прикашлянул. – А следом табачок – не густо...

– А привыкли в поле.

– Что ж, долго отходила она?

– Да как сказать – скоро, долго ли... Отошла.

– Под конец, говорят, будто повеселела даже, – то ли просто говорил, то ли спрашивал Мурашин; хозяйски разломил крупный огурец, сунул кому-то половину – закусывай, мол. Его, не бывшего вчера у Скорохотовых, видимо, интересовали, донимали чем-то слухи, быстро разбредшиеся по селу. – Отчего веселеть-то, не пойму?

– Значит, было отчего.

– Не по-людски это все, не к добру, – мотнул тот головой, по-быстрому управляясь с едой, ни одной крошечке не давая пропасть. – Не согласен. Человек должен скорбеть, это... жалеть, что вот он жил, жил и вот теперь уходить надо, все терять, что нажил. Самого себя человек теряет – ну шутка ли?! Фуражку пьяненьким потеряешь – и ту, подлую, жалко, обида берет...

– Вот это правда, – усмехнулся Мишка. – Десятку-другую просадить – это как будто так и надо; а фуражку эту ходишь спрашиваешь, ищешь, все закуты обшаришь... я эти фокусы знаю. Да нет, видно, че-то у нее было, раз так... Она как-никак верила.

– Так верить, как она, это у нас многие веруют, толку-то... Я сам так верил: раз в год перекрестился – и ладно; а нет – ну дак и это не беда... Вон Парамонин, со второй бригады наладчик, он ничему не верил. А как прошлым летом прихватило нас грозой в чистом-то поле, так он про все забыл, по-другому запел. Гром ка-ак грякнет, долбанет! – а он как закрестится, забормочет... все тряпки из трактора повыкидал, молитву какую-то бормочет и выкидывает, сам белый, глаза как... – Мурашин брезгливо махнул рукой. – Знаю я вас. Кулугуры – вот те веруют, соблюдают. А из нас какие верующие: пить мы пьем, – стал загибать он пальцы, – грешить грешим, ругаемся, воруем... икон в дому, считай, уже не держим – на чем вере держаться?! За могилками вот не следим, а что про другое говорить.

– Как умеем, так и верим, занимать этого не пойдешь, – сказал дядя Петя. Он был и грустен, и сердит, из головы его не выходило это – как бы не наткнуться... Придется тогда другое место искать – а где? Все занято кругом, тесно, теснота – даже им тесно теперь на земле. Он посмотрел на кривой частокол голубых, новых и старых некрашенных крестов, деревянных и железных, темных, выбеленных дождями до седины, ржавых, полузаплывших землей и травой, и опять горько подумал – тесно...

– А ты что – веришь? – голосом наскочил на него Мурашин, хотя поза его была самая мирная: сидел себе, по-турецки поджав ноги, поглядывая из-под козырька весело и неприязненно. – Веришь, что ли, если так говоришь?!

– Я-то? Ну где мне... А Дуня вот верила.

– Так я тебе и говорю: разве это вера?! Вера – это когда человек и закон божий блюдет, и молится, и... Когда ему скажи: лезь, мол, в ярдань или куда хошь, хоть в огонь – и он ползет! Я так это понимаю. А это какая вера... Я тебе таких верущих хоть тыщу представлю, хоть с нашего села. А они в вере и детей не воспитают, одне пионеры да комсомольцы!

– Без веры нам никак нельзя, – сказал вдруг дядя Петя, как-то невпопад разговору, – либо сопьемся, либо скурвимся.

– Без какой – в Бога, што ль?

– А без любой, хоть и в Бога, – уклончиво сказал он, взглянув пристальной под самый козырек Мурашину. – Больно много безверных развелось. Ты вот дом новый ставишь – должен ты верить, что он стоять будет?.. Так и тут.

– Да что – тут? Где это «тут»?!

– Да везде, во всем. Жизнь была такая, что не хочешь, да поверишь. Это нынче вон...

– Ну, брат, это как сказать, – вмешался молодой мужик Подковыров, в миру Колюня. – Моя вон... как сбесилась! С рейсу как-то приехал, гляжу – иконку откуда-то притащила, в угол собирается пристроить. В передней не дал. Детишки, говорю, большие, пионеры – будут из-за тебя стыд собирать... А раньше не верила, когда брал-то: в городе была, училась. Одна у ней была вера – подолом покрутить.

– Это она к пятидесятникам либо попала, к Молодушке вашей, – ухмыльнулся Мурашин, ему на все это, в общем-то, было наплевать. – Не уследил.

– Какое – с Молодушкой и не водятся, не любят друг дружку! – весело сказал Колюня. – Это сама она; говорю – сбесилась... Уж и не знаю с чего: живем вроде бы ничего, что у людей – то и у нас. А если тягость какая... так оно у всех вроде бывает, одни мы, что ли, на белом свете. Вот уверилась – и все, хана!.. В задней, говорю, пусть висит. Глядишь, при случае и заступится. – Он опять широко улыбнулся. – Он хоть и в последних теперь начальниках, а все равно... не в нашей с вами «деревне» живет. Места не провисит.

– Не провисит, – серьезно согласился с ним дядя Петя, поднял стакан. – Ну, будем живы. Главное – чтобы здоровье, а остальное будет. Здоровье – это... Все по краю ходим.

– Да тут уж так – знай край, да не падай.

Копать становилось все труднее, в ход пошли ломы. Чаше стали меняться: один долбил слитную косную глину, принявшую теперь глубинный красноватый оттенок, другой тут же, внизу, ждал, потом выкидывал. Все уверились, что здесь они уже не первые работают, по копаному идут; но только отчасти, одной стороной. Другая стенка была чистой, нетронутой, и дядя Петя пожалел, что не взяли они чуть ближе к бабке. Теперь поправлять поздно, будь что будет. Напарник стал выбрасывать совковой лопатой сухую, по структуре своей уже на красный плитняк смахивающую глину; а он оперся на лом и смотрел вверх, где пошумливал ветерок и шли в небе светлые далекие облака.

В двенадцатом часу наткнулись на угол гроба. Сначала угадывалось это ломом, вошедшим податливо, но вроде бы увязнувшим в чем-то, потом лопатой. Опасливо прощупали место, облегченно вздохнули – совсем мало выступает, одним только углом, – и стали потихоньку очищать.

На белый свет глянуло что-то сглаженное, тупое, насовсем сросшееся с глиной – чужое, будто спрятанный землею камень. Его осторожно оскребли, показалось темное дерево, трухлявое, наверно; хотелось узнать, крепкое ли еще. Безбоязненный Репейник надавил острием штыковой лопаты в доску, трухлявина поддалась, но неглубоко.

– Листвянка, зараза, – сказал он, бодро и торопливо взглянув вверх, колупнул смелее. – Что ей поделается, в сухости.

– Двадцать лет... – проговорил кто-то сверху, оттуда легонько сыпалось, все старались разглядеть, глянуть на давнее. Тесновато здесь, внизу, ничего ни скажешь.

Угол присыпали, слегка пообтоптали; в молчании взяли еще на штык, выдолбили и выкопали, подчистили, обходилось и без подкопа. Явно довольные, вытащили закончивших работу Репейника и Мурашина – ох, глубока, – сложили лопаты, сели отдохнуть.

Минут через десять, как знал, с косо торчащим из кузова крестом подъехал на «газоне» распорядитель, из скорохотовских кумовьев. Торопливо прошел между крестами, спросил, еще подходя:

– Ну как – готова?.. А что ж сидите, ждете – скоро вынос, поехали!

– Да вот, думаем...

– Что думаете?

– Хм... Да рази человеку не о чем подумать?.. Жизни человеку – на три раздумья.

– На какие таки? – любопытствовал Колюня. Он лежал рядом с дядей Петей, постелив себе на ковыльке пиджак, курил, бездумно смотрел в небо, отдыхая.

– Как жить, каково живется да зачем жил... Боле не дается, не успеешь.

– А что это, в углу, – спросил распорядитель, – зачем?

– А сосед, не рассчитали маленько. Знаешь, ты езжай, а мы тут подождем – што колготиться-то?! Все одно нам сюда... А людей там и без нас хватает. Езжай, передай, что готовы.

Ждать пришлось долго. Мужики успели поправить поваленную бульдозером сетку, навести могилки своих, сидели, вспоминали. А к половине третьего все было закончено: продолговатая, сама похожая на гроб гряда с крестом в изголовье насыпана, обложена по сторонам дерном, птицам корм накрошен, поплакано и сказано. Собрались и потянулись с могилки, теперь уже разрозненными кучками, люди, переговариваясь, качая головами и крестясь, другие молча, хотелось помолчать вместе. Пошли, оставив ее, отторгнутую от всего живого, наедине с землею, с глубинной той глиной и с чем-то другим, долгим, длительным во всю нашу жизнь и дальше, не имеющим названия, а одно только чувство неизбежности и печали, молчания, какого не избыть.

III

За поминальным столом сидели долго, по-свойски, бабы вместе с мужиками, обычай особенно не соблюдали. Говорили о том, о сем, о покойнице, потом как-то незаметно на хозяйственное свое перешли, на привычное, хотя все смиренней, глуше обыкновенного было, памятуя, где и при каком случае находились. Разговор зашел о близкой уборке, потом о нынешней погоде – не в пример пакостней, неопределеннее стала, уже и приметам не скажешь, что будет. Да и сами приметы как-то забываться стали, нужда в них, что ли, отпала. Это раньше каждый сам решал, когда сеять или убирать, выгадывал сроки: десять раз присмотрится, прежде чем лошадям на ночь задать. А нынче либо какую бумагу из района пришлют, либо звякнут по телефону: «Немедленно, не срывайте нам график!..» В небесной канцелярии этот график срывают, не у нас.

– Уже и праздники все не те, обязательно либо забуранит, либо дождж, – откликнулась мужикам с другого конца столов Анна Степановна, первая на улице псаломщица, «читака». – Забыли, когда по краснопогодью праздновали: на масленой мело, Пасха тоже ни то ни се... не видали, как солнышко играло, туча на туче. А на Троицу, возьми ты, дождж, продрогли все. Хоть не празднуй.

– На Троицу-т Дуня-касатка, поди, и простудилась – у моста-то.

– Да кто ё знает, может, и там. Дождичек-то хоть и малый был, а северный, холодный – назяблись...

– Может, и оттуда. И дернуло вас, бабоньки, к мосту этому ходить, чудеса творить!..

Дядя Петя качнул головой, уставясь в затоптанный пол, какой всегда бывает на гулянках или собраниях, на помин тоже. Обнесли уже по третьему разу, он все выпил. Какой-то особой скорби, горя не было, что уж душой кривить; но и светлой утренней печали, согласия со всем тоже не оставалось в нем, была тягость, маета и что-то среди всего этого близкое, нужное, ей-Богу же, доступное его пониманию, но которое он так, и не мог пока понять, уяснить себе.

– Незачем было туда ходить, – опять произнес он. – Шоферишки наши, слава Богу, там не бьются, знают... а за всех Бога не умолишь, белый свет не натопишь. Да и толку-то.

Ему неожиданно ответила робкая и совестливая Улита, вдова, сроду бывшая там, где все, незаметной тенью ходившая со всеми. Помнится, была она ему почти сверстницей, а Дуне во все времена лучшей подругой; а теперь почти старуха, маленькая, худая, своему имени под стать, лишь кисти рук грубые и большие, почти мужичьи.

– Ой, да как же это незачем, касатик, – тихо, стеснительно и все же с укором сказала она, растерянно оглянувшись на товарок. – Ить люди все, жалко. Нам-то невелик труд им, гляди, поможет. Как же страх такой терпеть под боком?..

– Икона в углу, а голова на плечах должна быть, – раздраженно отозвался Мурашин. – Их никто не гонит, шоферню эту, сами виноваты. Он зачем, последний этот, на железку-то давил – гнались за ним? Никто не гнался. А девчат угробил. Найди их теперь – поди сделай, вырасти... Лихолетки в силу вошли, живут, ни себя, ни людей не жалеют!.. Сами не знают, што делают.

– Не токмо они, – совсем тихо и виновато, почти себе сказала Улита, спорить с Мурашиным ей было не под силу. – Все-таки чтой-то есть в нем, в этом мосту...

– Да ходите, мне-то что, – сказал дядя Петя, – лишь бы помогло. Все годится, лишь бы помогало.

Новый мост был в стороне от села, за пажитью. Года два назад пустили там наконец скоростную автостраду, которая строилась долго, лет восемь, с никому не понятными здесь перерывами: то вдруг нагонят людей и машин, наставят вагончиков, флаг подымут, целодневный рокот стоит, как с пашен весной, работа кипит, вершатся горы земли и нету ей покоя, а то замрет все на полгода, на год, будто люди что-то искали здесь, не нашли и двинулись со своими беспокойными машинами дальше, опять ковырять и искать... Весь дорожный поток шел теперь в обход села, стало спокойней в нем, глуше будто; одно плохо – на автобусную остановку далеко идти, если вздумаешь куда выехать.

В утренней тишине там с гулом, похожим на железнодорожный, слышным за многие километры, проходили первые машины – и весь день потом шли, сотрясая ревом воздух, сновали, ныряли с поворотом вниз, к мосту через местную малую речушку Ленивку. Неспешно, с частыми тихими заводами, текла она по дну огромной крутосклонной лощины, сплошь заросшей чернолесьем, ивняком и матерым борщевником, утехой ребятишек. Оба склона под дорогу, сколько посчитали нужным, срыли, поворот по возможности закруглили; но и после этого осталась она тут крута и все скоро поняли, опасна, особенно в распутицу и гололед.

Первым мост «обновил», кажется, все тот же Подковыров, Колюня: возвращался из района, раскатился сдуру под горку и «не урулил». Грузовик выбил крайнюю секцию перил, грузно вылетел за мост и всеми четырьмя скатами ударился о землю... Но не перевернулся. В этом было счастье Колюни, отделался, как мальчишка, лишь ссадиной на коленке. Колюню сняли, вычитав немаленькое возмещение за ремонт; а чтобы он мог его, заработав, уплатить, посадили на старенький бензовоз. Года не прошло, как снова угодил Колюня под тот же мост, уже по пьянке, и опять платил, над чем посмеивалось все село. Жена ему устроила скандал, дело чуть до развода не дошло; а когда успокоилась немного, то надоумили ее бабы написать и зашить ему в пиджачок молитву. Она так и сделала, хотя Колюня с тех пор остался в безлошадных и стал ходить с вилами на скотные базы.

Через неделю с небольшим после первого происшествия с Колюней громный КраЗ, шедший из города на хорошей скорости, не сумел разъехаться со встречной, несмотря на то, что ширины моста тут вполне хватало; разбил хрупкие, больше для виду, перильца и всей тяжестью своей ухнул на бетонную подушку русла, кабиной вниз...

С тех пор и пошло, одно за одним, необъяснимо и, наверное, случайно, но от этого ничем не легче – особенно по осени и зимой. Свои, местные, уже убедились в коварности, в видимой дорожной устроенности этого моста и опасались, сбавляли скорость даже по пьяному делу, скорее себя боялись, чем моста, потому и случаев здесь было не больше, чем в любом другом таком месте. Зато проезжая лихая шоферня страдала; то и дело разносилось по селу, что на Ленивке опять кто-то «не урулил», разбил себя в безрассудной, в бесцельной, казалось, гонке за горизонт – «привезли всего в крове, а уж дыханюшки и нету...». И не столько, может быть, в мосту этом дело было, сколько в «лихолетках» самих, все гнавших, торопивших себя куда-то.

И совсем много разговоров стало этой весной, когда на мосту не удержался самосвал. Водитель как-то остался цел, хоть и побился, а две девчонки, студенточки, ехавшие в кабине, так и не выжили. Забеспокоились бабы, старухи и решали недолго: надо идти.

Мужики отнеслись к этому вполне равнодушно: «Охота вам ноги бить...», а один сказал, раздражаясь на бабью глупость:

– Делать вам нечего, что ли?! Ить шоферня эта, залетки всякие... ить только вдовушек пользоваться, больше ни толку от них не жди. Сами же на дороге по дню голосуете, пыль глотаете – они берут?! Возьмут они, жди! Он и глядит на тебя, что ты махаешь – он гордый, прет, сам себе хозяин и начальник...

– Пусть их так... а все равно жалко. Люди ведь.

– Ну, у нашей у куме одно на уме – идите...

И пошли, на Троицу уже. Собралось человек пятнадцать, побольше старух, поменьше молодых. Вела всех читака Анна Степановна. Прошли улицей на выпас, разговаривая, как все это получше сделать, по закону. По дороге встретили учителя Яковлева, возвращающегося с пруда на Ленивке, в прохладной широкой шляпе, с куканом и удочками в руках.

– Куда, черная кость, пошла?!

Он с веселым изумлением разглядывал иконку в руках читачи, кресты, одеяния их торжественные – черные юбки, пиджачки и кофты, белые платки. Ему сказали. Он было заулыбался, потом посерьезнел, почесал под шляпой, понимающе закивал – ну что ж... И пошел, оглядываясь и чему-то дивуясь.

Подошли к мосту, голым глинистым косогором спустились вниз, к бетонным опорам. Дорога по праздничному дню была пуста, лишь изредка прогрохочет железками спешащий к отдыху и столу шофер на грузовичке, прошелестит шинами легковая... Под мостом было сумрачно и сыро, бетонное ложе, по которому вольно текла прозрачная верховая вода, покрылось зеленым, слизким, струилась кое-где водоросль. Молчаливо, пусто было, лишь покойно и дремотно журчало, и еще доносилось сверху, в тон воде, переливчатое пенье летнего жаворонка. Но эта пустота, молчание не обманывали никого.

– Начнем, что ли, – вполголоса, строго сказала Дуня-Забота, посматривая наверх, к жаворонку, к тучкам, споро шедшим по ветру, успевшим уже окропить зеленое раздолье июня, холмы и поля, стада, жилища человеческие.

– Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водвориться...

– Речет Господеви: заступник мой еси и прибежище мое... Яко той избавят тя от сети ловча и от словесе мятежна... Оружием обыдет тя истица Его. Не убоишься от страха ночнаго, от стрелы летящий во дни; от вещи во тьме преходящая, от сряща и беса полуденнаго...

С нарастающим гулом, грохотом, покрыв собою все, пронесся поверху вихрь воздуха, огня, бензиновой гари, и читача подняла свой голос, негодующе-кроткий и слабый:

– Не придет к тебе зло, и рана не приблизится телеси твоему... да никогда не преткнеши о камень ногу твою... На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия...

Снова загудел, задрожал от земной ревущей тяжести мост, воздух сам и берега, колыхнуло землю; на миг темнее будто стало, сумрачней, словно свечу задуло, и читача опять подняла голос и почти кричала...

– ...Яко на Мя уловах, избавлю и его, покрыто и его, яко позна имя Мое!..

И все время, пока внизу читали и пели, кропили, крестились сами и крестили, поверху безостановочно шли и шли тяжелые машины – видно, проходила какая-то колонна.